

**ПРЕДПОСЫЛКИ КОНФОРМИЗМА:
«БОЛЬШЕВИЗАЦИЯ» ЯЗЫКА
В 1917–1920 гг.**

S.V. Yarov. Preconditions of Conformism: Politisation of the Everyday Language between 1917 and 1920. The article deals with the main mechanisms of language submission of the popular masses during the revolution. The main components and special traits of formation of the «Bolshevised» political language are analyzed. It is shown, how various social groups of the Soviet society were adopting it, how it transformed the political mentality of the citizens. Special attention is paid to the proximity of the «Bolshevist» language to the one of the populist parties and other left-wing factions, and explains how it contributed to conciliation of non-Communist groups with the Bolsheviks.

Говоря о политическом языке первых послереволюционных лет, необходимо сделать несколько пояснений. Политический язык, даже если его употребляли «беспартийные демократы», обуславливался содержанием программ различных партий и общественных течений. Он во многом отражал присущие им приемы схематизации и догматической интерпретации множества событий и явлений. Близость языка противоборствующих сил — это и регистр близости их теоретических постулатов, их видения мира, их «стратегии и тактики». Это регистр той близости, которая впоследствии стала основой их примирения, и, следовательно, важным фактом конформизации масс. Используемые противниками большевизма социологические клише («борьба против черносотенной реакции», «отстаивание прав эксплуатируемых», «разоблачение произвола буржуазии», «создание народной, демократической, революционной власти», «народная свобода», «борьба против контрреволюции») отмечали те границы, за пределы которых они не могли выйти. Это имело несколько значимых последствий. Во-первых, уменьшались рамки протеста, поскольку допускалась не огульная, безоглядная полемика, в которой могли применяться все средства, но спор в соответствии с нормами определенного политического языка, в обрамлении скрывавших протест ритуальных социал-демократических штампов. Во-вторых, эффективность протеста уменьшалась и ввиду того, что социалистические клише (как уже отмеченные выше, так и другие из них) почти совпадали с клише большевистскими. Это дезориентировало те социальные слои, на которые пытались опереться противники большевизма. В сознании людей, являвшихся очевидцами Февральской революции, такие понятия-символы, как «свобода», «демократия», «народ», «революция», четко противостояли языку тех, кто защищал самодержавие и кто мог использовать в своей речи слова: «верноподданный», «порядок», «благонадежность», «бунт». После октября 1917 г. большевики и их противники — левоцентристы пользовались почти общим языком: обвинения в «контрреволюции» были слышны с обеих сторон. В-третьих, это усиливало политизацию низовой речи, усвоение социалистических (общих и для меньшевиков, и для большевиков) клише в обычных бытовых ситуациях, в повседневной жизни далеких от политики людей. Создавался низовой аналог «большевизированного» языка — равно как и «большевизированный» вариант повседневной речи.

«Большевизированный» политический язык, который со временем стал языком массового подчинения, не возник в одночасье, а представлял собой усложненный вариант языка «народнической» литературы. Размежевание обоих языков произошло вследствие идеологических споров, повлекших уточнение и переосмысление ряда терминов. Но и в этом случае такое разделение не стало полярным. Многие клише

имели почти одинаковое значение в различных вариантах языка социалистов, а некоторые из них, хотя по содержанию и отличались друг от друга, в массовом восприятии нередко сближались. «Освобождение труда», «власть трудового народа», «народное единство», «народная свобода», «трудовая демократия», «освобождение от власти капитала» — эти дефиниции каждая партия истолковывала по-своему, но в политизированном просторечии низов оттенки партийных трактовок не всегда отличались. Распространенность и прочность народническо-социалистических клише в низах можно рассматривать как элемент ускорения большевизации низового языка, в силу смысловой и терминологической близости народнической и большевистской лексики. Отчасти и в силу этого язык, которым формировались антибольшевистские программы, не очень сильно отличался, как ни парадоксально, от большевизированного языка — тот использовал те же термины, лексику, понятия. А это, в свою очередь, ограничивало диапазон оппозиционных выступлений, придавая им преимущественно социалистическую направленность и, значит, уже устанавливая пределы политического инакомыслия. Абстрактные социалистические термины не были лишь бессвязными лозунгами. Каждый из них имел свое место и значение в общей политической программе. Употребляя один из терминов, человек вместе с тем намечал и ассоциативно воспроизводил всю цепь соотношенных между собой идеологических постулатов, подчиняясь внутренней логике самой теории. Он не мог произнести лозунг и придать ему звучание иное, нежели то, которое уже было отмечено в систематизированной программе. Лозунг бы не «работал», оказавшись вне причинно-следственной связи, составляющей ось политической теории. Поэтому, произнося лозунг, человек оказывался как бы в зависимости от той системы взглядов, которая, возможно, являлась для него чуждой, но от которой он не мог дистанцироваться: защита лозунга требовала определенного кода мотивации, и приходилось использовать не только социальные, но и взаимосвязанные политические клише. Едва ли новый язык мог закрепиться и стать частью повседневной речи, если бы не произошло сближения, смещения и изменения содержания политических и этических терминов, что приспособило их к обычной «бытовой» практике людей.

Наиболее простой вариант заимствования — использование политических «ярлыков» как заменителей того или иного оценочного термина именно в повседневной, неполитической жизни людей. Негативное отношение к человеку высказывалось не посредством обращения к обычным формулам: «враг», «негодяй», «бездельник», «скупец», а путем перевода таких формул в далеко не равнозначные им политические клише: «корниловец», «черный буржуа», «саботажник», «контрреволюционер», «кулак». Происходило это в силу нескольких причин. Прежде всего здесь сказалось то, что человек стал объектом мощного идеологического воздействия, в котором слова-лозунги — простые, примитивные, доходчивые, жесткие — получили особое значение. Они стали осью идеологического каркаса — как вследствие упрощенности самих идеологических штампов, так и ввиду использования их преимущественно в «политическом воспитании» масс, для которого «лозунговость» должна была стать неизбежно обязательной. Рецепция, передача этих слов-лозунгов в полуунифицированном идеологическом государстве, каким являлась Советская Россия, осуществлялась особо тотальным напором: через прессу, которая отражала только официальную позицию, через частые и обязательные митинги, где в основном выступали только официальные ораторы, через фабрично-заводские собрания, на которых выслушивались многочисленные доклады «о текущем моменте», через общение с политическими структурами, от которых зависел, что было очень важно, статус человека. Вследствии этого политическое слово стало обиходным, понятным для многих, постоянно употребляемым. Для бытовых же практик как раз и привычно употребление широких, общепринятых

Предпосылки конформизма: «большевизация» языка в 1917–1920 гг.

терминов — тем быстрее их принимали, тем охотнее ими пользовались. Но дело было не только в этом. Человек мог не пользоваться политическим словом-заменителем, но, произнося его, он получал как бы авансом своеобразную государственную косвенную поддержку своим бытовым и личным обвинениям — посредством расширения значимости обвинений переводом их из бытовой в политическую сферу. Называя соперника не «врагом», а «контрреволюционером», обвинитель усиливал эффект своего протеста, придавая тем самым ему уже не частное, а общественное звучание. Примером такого лексического смещения можно считать инцидент, возникший на Первой конференции рабочих и красноармейских депутатов 1-го Городского района в 1918 г. Прозвучавшее здесь обещание Г.Е. Зиновьева: «мы здесь, в Петрограде, буржуазию переведем на солому», — вызвало крик с места одного из оппозиционеров: «долой Скоропадских». Возник шум, в котором, однако, стенографист уловил чью-то реплику («голос с места: **Фамилию его надо узнать. Разбойник. Саботажник**»)¹.

Посмотрим, как здесь наслаиваются политические «ярлыки». Трудно выяснить, что нашёл общего оппозиционер между большевистским вождем Зиновьевым и немецким ставленником гетманом Украины Скоропадским. Возможно, Скоропадский воспринимался как символ беспощадной борьбы с левыми организациями — но ведь выкрик последовал после угрозы Зиновьева в адрес «буржуазии». Характерен и «голос с места» — человек, заклеивший «скоропадских», был назван «саботажником», хотя таковыми, в соответствии с терминологией того времени, считались люди, отказывавшиеся от работы в знак протеста против большевистского переворота. Очевидно, что ни один из употребленных «ярлыков» не является точным и существует явно вне контекста спора. Нередко в пылу политических схваток социалистов (эсеров и меньшевиков) их оппоненты называли «погромщиками». Использование клички «корниловец» по отношению к социалистам стало и вовсе обычным, хотя известно, что именно они являлись наиболее последовательными борцами с корниловским мятежом. Примечательно, что в выкрике с места происходит не просто замена одного слова другим — но оба они (первое — обычное для повседневной речи, второе — типичное уже для речи большевизированной) произносятся одно за другим. Возможно, не случаен и их порядок: сначала привычное слово, затем политизированное слово-заменитель: «Разбойник. Саботажник». Тем самым виден не только итог специфического «перевода» слов, но и самое действие этого «перевода». Нечто похожее можно обнаружить и в письме рабочих Обуховского сталелитейного завода Петроградскому военно-революционному комитету (ноябрь 1917 г.), где они требовали «убрать <...> правых эсеров»: «Мы просим проверить наш завод и выгнать этих смутьянов, потому что они буржуи, домовладельцы». Обнаруживается та же последовательность терминов — от старорежимного «смутьяны» до большевизированного «буржуи» — и в том же соседстве. Еще раз повторим, употребление новых терминов не отличалось точностью. Если бы этого удалось избежать и формулировки отличались бы строгостью их применения, тогда они не привились бы столь быстро и широко, как это случилось после революции. Замена этических оценок политическими клише, заимствованными из социалистической литературы и применявшимися чаще именно в большевистской речи, имела несколько последствий. Во-первых, это исподволь приучало массы к новому языку. Он уже не казался чужим в простой бытовой ситуации. Ввиду неправильного применения такой лексики она могла применяться и в обычном споре, лишенном политических оттенков, — кто-то мог назвать своего обидчи-

¹ Первая конференция рабочих и красноармейских депутатов 1-го. Городского района. Пг., 1918. С. 10.

ка контрреволюционером или корниловцем только за то, что он похитил ведро или кого-то оскорбил, отозвавшись неместно о его близких. Во-вторых, поскольку большевистские клише не были просто терминами, но являлись осевыми конструкциями системы большевистских постулатов, их употребление должно было воспроизводить цепочку соотнесенных между собой идеологических парадигм. Разумеется, человек, используя чужой язык, на первых порах не очень четко мог представлять его связь с коммунистическими концепциями. Но чем чаще он пользовался таким языком, тем быстрее он к нему привыкал, тем разнообразнее становились повседневные бытовые ситуации, в которых могла воспроизводиться такая фразеология, тем явственнее возникало своеобразное языковое рабство, тем скорее большевистская речь становилась понятной низам.

Политические клише могли вкрапляться в повседневный язык в силу разных причин. Это происходило вследствие яркости митингового языка, что привлекало к нему особое внимание и не могло не оставить следа в речи низов, где заимствования по причине ее неразвитости могли быть и обширными. Это стало возможным и потому, что освоение нового языка происходило зачастую в особых условиях, во время споров — слово не просто произносилось, оно отстаивалось в накале эмоционального напряжения и потому глубже пропитывало сознание и речь человека. Это осуществлялось посредством частого использования политических формул в различных жалобах и прошениях, как письменных, так и устных.

Практика составления таких прошений с политическими вкраплениями весьма разнообразна, хотя структура их была в значительной мере унифицированной. В первую очередь высказывалась жалоба по какому-либо поводу, на она обязательно сопровождалась политическими оговорками, которые должны были подчеркнуть лояльность просителя или его право на получение привилегий. Вопрос о том, насколько искренне отражают эти оговорки взгляды людей и не употребляют ли они их только как средство для удовлетворения далеких от политики прозаичных, меркантильных интересов, весьма сложен и может быть даже не очень корректен. Человек мог быть убежден в том, что ему в силу происхождения и «революционных заслуг» должны полагаться особые льготы и что ущемление его «прав» не должно допускаться в государстве, которое он считает «своим». Важнее другое: коль скоро те или иные просьбы могли быть выполнены ввиду указания на особые политические обстоятельства, то неудивительно, что к политическим аргументам обращались чаще и чаще.

Человек употреблял их тем охотнее потому, что они были нужны ему не для политического волеизъявления, в те годы еще непривычного, а для решения насущных повседневных проблем, с которыми он встречался весьма часто. И он был вынужден использовать не просто слова-клише, но со временем и прибегать к менее простой клишеобразной мотивации, овладевать хотя бы и первичным, но уже стилизованным языком, с помощью которого он оправдывал свои права — тем чаще, чем разнообразнее и запутаннее были бытовые ситуации, в которых он оказывался. Во многих ситуациях обойтись двумя-тремя словами уже было нельзя, требовалось знание целого языка, определенного кода разговора с властью имущими, применения разных «диалогических» приемов в каждом конкретном случае. Ему нужно было жилье — и он доказывал право на чужую комнату антибуржуазной, эгалитарной риторикой. Ему нужны были пайки — и он ссылаясь на идеологическую догматику, в соответствии с которой именно пролетарии, «люди труда» имели право на льготы, на лучшее питание и снабжение. Он хотел добиться отсрочки от призыва в армию для продолжения учебы — и утверждал, что без его присутствия в «контрреволюционном» университете борьба с «буржуазным» студенчеством здесь не будет успешной. Он отвергал обвинения в нарушении производственной дисциплины, в воровстве, в

Предпосылки конформизма: «большевизация» языка в 1917–1920 гг.

прогулах — и защищал себя, подчеркивая, что это придирки «буржуазных» спецов, мастеров, ненавидящих Советскую власть и ее прочный оплот — рабочих.

Можно предположить, что не все высказываемые человеком политические клише отражали его внутренний настрой. Нельзя отрицать, что в некоторых из них человеку, в силу уровня его культуры, было вообще трудно разобраться и он повторял их механически, а подбирая эти клише для своих целей, быть может даже и прибегал к помощи других лиц. Все это так, но ни личная, ни коллективная мимикрия не проходят бесследно. Эта политическая мимикрия определялась материальными интересами и потому должна была быть особо прочной, устоявшейся, не возникающей лишь от случая к случаю, но являющейся обязательным элементом поведения людей. Мимикрия приносила человеку плоды реальные и значимые для него. Они были тем инструментом, применение которого подавало надежду получить такие же плоды и в дальнейшем. Она являлась всегда востребованной, она неизбежно должна была воспроизводиться как частица бытия человека — и, будучи в неразрывном слиянии с ним, видоизменяла в какой-то мере само это бытие. Постепенно усваивались не только отдельные идеологические термины, но и та система понятий, которая, как скрепами, сковывалась и оформлялась ими. Эта система усваивалась и вследствие импровизаций, которые человек нередко допускал, приспособливая жесткие идеологические формулы к обычным житейским ситуациям. В таком случае эти формулы, будучи неизбежно огрубленными и «приземленными», становились для человека почти «своими», одной из частиц его мышления. Такая система усваивалась и подсознательно в силу частоты использования непривычных прежде терминов. Она усваивалась и посредством употребления слов, хотя и имеющих политический оттенок, но на самом деле во многом подменяющих собой привычную «бытовую» речь.

Для того чтобы показать, как возникали политические вкрапления в жалобах и прошениях, приведем несколько примеров. Один из рабочих Ижорского завода протестовал против увольнения по сокращению штатов. Причиной увольнения, по его мнению, было то, что членом комиссии по сокращению являлся некто, сводивший с ним «личные счеты». Он мог бы на этом и остановиться, но таких аргументов ему показалось мало. Он переводит бытовое в политическое: выражает возмущение тем, что это возможно «в государственном учреждении, где место подобные случаи не должны иметь и где не досказанного и не доказанного ничего не должно быть»². Заметим, жалобщик не упрекает государство — виновными в инциденте он считает лиц, искажающих государственную политику. Использование такого приема — противопоставление правых и виноватых — обязательно предусматривало идеализацию государственных структур: теперь нельзя было предположить, что они могут быть не правы, ибо иначе система аргументов утрачивала свое ядро и распадалась.

Более того, проситель самостоятельно приписывает государству достоинства, подчеркивая его авторитет (именно в нем «место подобные случаи не должны иметь»; «не досказанного и не доказанного ничего не должно быть»). Возможно, косвенно апеллируя и к отмеченным пропагандой характеристикам пролетарского государства, он вместе с тем уже сам уточняет их, упражняясь в их систематизации и отшлифовывая их. Это конформистское действие, будь оно единично, возможно, и не оставило бы отпечаток в его мышлении и языке — если не предположить, что он столь же скрупулезно не перечислял достоинства новой власти и в других бытовых ситуациях, в том случае, когда был в чем-то ущемлен.

² Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Ф. 4591. Оп. 7. Д. 72. Л. 135 об.

Характерным можно считать и другой пример — письмо работников завода «Светлана» в конфликтную комиссию при Всесоюзном Союзе рабочих металлистов (ВСРМ). Здесь было уволено несколько «подозреваемых работников» — такие формулировки обычно использовались, когда речь шла о хищениях. Ничего политического в этом споре не было, но вот какой вид имеет эта жалоба: «Мы, нижеподписавшиеся работники завода “Светлана”, состоящие все членами Союза металлистов и считая таковой прямой защитой наших общественных интересов трудящихся, вышедших из гнезд пролетарской семьи, просим встать на защиту и присоединиться к твердо созревшему нашему решению — не дать возможности уволить подозреваемых работников»³. Вычленим здесь политические клише: «общественные интересы трудящихся», «гнезда пролетарской семьи», а также фразы, возможно заимствованные вследствие частой практики голосования за фабрично-заводские постановления, подготовленные коммунистами («встать на защиту», «твердо созревшее наше решение», «считая таковой прямой защитой»). Обратим внимание на то, сколь насыщен этот короткий текст политическими штампами — если бы они не были применены, для выражения самой просьбы хватило бы буквально одной строчки. Пропитанные «классовым духом» фразы, как видим, не просто случайные оговорки, а доминанта, ядро текста. Можно спорить о том, насколько типичен такой пример, но при этом необходимо обратить внимание на контекст предложения. Относящиеся к делу аргументы здесь, как видим, не приводятся — отсюда можно предположить, что они поддержали бы версию о виновности подозреваемых. Значит, надо обратиться к чему-то другому, чтобы защитить людей — и это «другое» оказывается именно политическим аргументом, иного способа изменить ситуацию нет. Обратим внимание и на то, что текст не очень хорошо стилистически отделан. «Общественные интересы» являются и «нашими», и интересами «трудящихся», последние выходят «из гнезд пролетарской семьи», решение «твердо созрело». Здесь обнаруживается скорее нагромождение клише литературных и идеологических, а не подгонка их в рамках «гладких» стереотипных фраз. Это отчасти может указывать на более деятельное участие низов в подготовке прошения. В зависимости от того, встречаем ли мы отшлифованность оформленной идеологическими терминами речи или имеем дело с конгломератом плохо подогнанных друг к другу клише, можно сделать вывод о том, на какой стадии «усвоения» чужого языка находится проситель, сколь умело он обращается с этим языком, в какой степени он ему уже близок.

Приведем еще ряд примеров. На делегатском собрании рабочих типографии Морского комитета 16 февраля 1923 г. было принято постановление «протестовать перед Губпрофсоветом о <...> попытке понизить ставки рабочим, что противоречит всей политике Советской власти, стремящейся к улучшению положения рабочих», а также грозит «аннулированием всех достижений союзов»⁴. Здесь мы можем отметить то же противопоставление выражающего интересы народа Советского государства и лиц, дискредитирующих его, какое мы видели в процитированном выше письме рабочего Ижорского завода. Правда, типографские рабочие пошли дальше. Они не просто подчеркнули эти различия в целях, но и, во-первых, прямо указали на зависимость между улучшением своего положения и укреплением советской власти и, во-вторых, косвенно намекнули на то, что критикуемые ими подходы не только не соответствуют государственной политике, но и мешают ей. Таким образом, заметен определенный сдвиг от обычной фиксации «хорошая власть — плохие исполнители» к выражению уже некоей заботы о власти — сдвиг не очень заметный, но примечательный. Подчеркнем, что выбор тех «идеальных» характеристик, которыми наделяются власти, логичен для рабочего: это

³ Там же. Д. 71. Л. 260.

⁴ Там же. Ф. 4808. Оп. 7. Д. 89. Л. 16.

Предпосылки конформизма: «большевизация» языка в 1917–1920 гг.

именно то, что она стремится к «улучшению положения рабочих». Других характеристик нет, выбор стратегии, ведущей к успеху, расчетлив: это не импровизации, а точно проверенный ход. Просители знают, чего хотят услышать власти, знают, какая риторика здесь уместна. Нечто подобное можно обнаружить и в неподписанной записке, направленной руководителям Беспартийного совещания рабочих Петрограда в апреле 1921 г.: «Просим разрешить свободную торговлю. Власть советов будет крепче тогда»⁵. Такой монолог рабочего на проверку оказывается диалогом. В нем отражаются не только доводы просителя, но и возможные контраргументы его оппонентов. Эта диалогизация речи не проходит бесследно. Она устанавливает и определенный порядок самоцензуры, порожденной оглядкой на чужие аргументы, и делает интенсивными упражнения в подборе «лояльных» доводов, которые, конечно, должны быть защищены от подозрений. Определить, как и в чем они могут быть защищены, — задача просителя, и решить ее он не мог, не ознакомившись с системой идеологических постулатов большевизма, не привыкнув к их языку⁶, не уяснив для себя приемов использования коммунистической догматики в своекорыстных целях⁷. Иными словами, такая диалогизация речи инициировала практики конформизма, определяла их содержание и их частоту и делала приспособление не хаотичной импровизацией, после которой было возможно возвращение вспять, но хорошо просчитанной акцией.

Особо отметим те случаи, когда политизация речи возникала как элемент самооправдания ввиду обвинений в нелояльности и контрреволюции. Обратим внимание на выступление представителя завода «Вестингауз» на Первой конференции рабочих и красноармейских депутатов 1-го Городского района (май-июнь 1918 г.). Он трижды пытался отвести от себя подозрения в контрреволюции, и примечательно то, как он это делал. Уже в начале выступления он отвергает обвинение ссылками на голод и общественное мнение — и здесь нетрудно уловить нотки самооправдания: «Сейчас громят всех с. р., громят других, третьих — вот это контрреволюционеры, но никто не обращает внимание на то, что голод всех делает контрреволюционерами. Вы видите, какой наказ дают мне товарищи. Вы конечно скажете в первую голову, что здесь говорят меньшевики или с. р. Нет, я скажу — масса говорит»⁸. Правда, такое самооправдание, смешанное с полугрозами, можно было трактовать по-разному, и он почти сразу же счел возможным оговориться: «Тут товарищи указывали, что пользуясь голодом, контрреволюционеры поднимают голову. Товарищи, это ложь. Массы теперь не пойдут на это»⁹. После этого он попробовал критиковать большевиков за невыполненные обещания (не называя их прямо, а говоря о списке голосования № 4 во время выборов в Учредительное собрание), подчеркнув, что «теперь <...> массы трезво смотрят и за лозунгами не пойдут», — и сразу же высказал оговорку, призванную смягчить впечатление от его «фронды»:

⁵ Там же. Ф. 6276.

⁶ Характерный образчик такого «привыкания» — переданная «Красной газетой» речь одного из беспартийных рабочих Александровского завода. Выступив с критикой порядков в советских учреждениях, он тут же оговорился: «правда, это примазавшиеся оскверняют советские организации» (Скальский Л. Здоровое осилило (на Александровском заводе) // Красная газета. 1921. 6 апреля).

⁷ Примечательно, что даже официальная пресса с неодобрением отмечала такие явления, как открытие чайной «Красный Петроград», кафе с «салонным оркестром» под названием «Коммуна» (Петроградская правда. 1921. 4 июня). Верхом безобразия для нее было кафе «Красная роза» — в центре зала находился портрет Розы Люксембург.

⁸ Первая конференция ... С. 54.

⁹ Там же.

«Пускай говорит с. р., меньшевик, они (массы. — С.Я.) знают, что никто не может дать хлеба. Вы ищите среди рабочих контрреволюционеров, вы их там не найдете»¹⁰.

Итак, обещаний не исполнили большевики, но это затушевывается замечанием о том, что и социалисты ничем не помогут — и здесь же оратор опять отделяет себя от контрреволюционеров, причем довольно неожиданно, поскольку это ничем не связано с предыдущей частью выступления. Во всех случаях критика власти, едва возникнув в этой речи, тут же нейтрализуется указанием на свою «благонадежность». Заметно, что «вестингаузец» и не протестует против самого употребления понятия «контрреволюционер», призывая лишь к тому, чтобы им не пользовались как дубинкой против тех, кто, по его мнению, этого не заслуживает.

Если мы внимательно присмотримся к тому, сколько возмущения вызывали на этой конференции обвинения в контрреволюции, как люди защищались от них — ярко, изобретательно, используя и другие клише, то станет ясно, почему и позднее сценарии самооправдания и отмежевания от неблагонадежных почти не изменились.

На собрании рабочих 10-й типографии 27 декабря 1919 г., выбиравшем членов Петросовета, некто Борисов высказал замечание по поводу порядка голосования, предложив «со своей стороны» двух кандидатов. Один из них, Григорьев, сразу же отказался, причем здесь же «в горячих словах опровергал все нападки, косвенно возводимые на него в причастности его к контрреволюции»¹¹. В поправках к наказу Беспартийному совещанию рабочих Петрограда, предложенных в апреле 1921 г., можно найти замечания о том, что «здоровая пролетарская критика со стороны рабочих наших неурядков не дает права никому заподозривать лишь в связи с этим рабочего в контрреволюционности»¹².

Как видим, о том, что такое «контрреволюционность» и кто такие «контрреволюционеры», рабочие слышаны — может быть, и потому, что им часто приходилось оправдываться. Это не требует расшифровки, это то, что прочно стало частью их языка. Контекст употребления таких терминов отчетливо показывает, что само обозначаемое ими явление признавалось как нечто реальное, а не созданное только лишь с целью дискредитации кого-либо — и как нечто плохое. При этом уже не спорили о том, допустим ли вообще такой приговор — требовали лишь, чтобы он был справедливым. Поэтому обвинения в контрреволюции вызывали череду контрреплик, которые учитывали только одну возможность самооправдания — проведение различий между лояльной, «правильной» критикой рабочих и «лживыми нападками» неприимимых врагов Советской власти. Здесь и найден термин «здоровая пролетарская критика», здесь и уместна оговорка, намекающая на то, что заподозрить в контрреволюции можно, но не единственно лишь вследствие «здоровой критики». Защищаясь от обвинений в контрреволюции, некоторые отстаивали свою приверженность власти прямо или косвенно намного подробнее и ярче, чем это делали, когда не были «на подозрении». В связи с этим можно привести несколько фрагментов выступления на заседании Петроградского совета 17 сентября 1920 г. рабочего Гольгина.

В начале своего выступления Гольгин посетовал на то, что рабочих «называют контрреволюционерами, саботажниками» в том случае, если они «соберутся самовольно»¹³. Эту фразу выступавший закончил не гневной репликой, не возгласом возмущения, не каким-либо иным эффектным ораторским приемом. Он завершил ее мягким «увещанием», которой свойственен даже своеобразный «просительный» тон — то ли

¹⁰ Там же.

¹¹ ЦГА СПб. Ф. 4804. Оп. 3. Д. 22. Л. 141.

¹² Там же. Ф. 6276. Оп. 6. Д. 85. Л. 28.

¹³ Петроградский совет рабочих и красноармейских депутатов. Созыв второй половины 1920 г. Пг., 1920. Заседание 17 сентября 1920 г. Стб. 251.

Предпосылки конформизма: «большевизация» языка в 1917–1920 гг.

сам извинился, то ли простил других: «Я предлагаю, чтобы наш многоуважаемый Президиум во главе с тов. Зиновьевым принял бы мое заявление во внимание и непременно бы раз в месяц созывал общие заводские собрания и толково, тактично и по-братски разъяснял бы всем товарищам рабочим, что такое Советская власть и ее строительство в дальнейшем. Я считаю, что это будет лучше всякой дисциплины»¹⁴. Едва оратор сказал что-то неприятное для чиновников, то не смог обойтись без целой череды оговорок, должных подтвердить его лояльность, которые, возможно, в другой ситуации он бы и не произнес. Одну не очень «благонадежную» реплику он тут же уравнивал или, вернее, перечеркнул уже несколькими весьма тактичными и предупредительными фразами. Этот специфический ритуал сближения — самооправдания, где на ложку яда приходилась бочка противоядия, еще ярче и отчетливее виден во время инцидента, который произошел в конце выступления Гольгина. Председательствующий Г.Е. Евдокимов прервал его речь: «Время тов. Гольгина давно истекло, но учитывая настроение аудитории, я не считал возможным его прервать, тем более, что было невыгодно прерывать его, когда он играл на <...> чувствах аудитории. Ответить мы ему ответим, но дайте ему выговориться до конца»¹⁵. Услышав какую-то угрозу в речи Евдокимова, Гольгин почти сразу же откликнулся на нее эмоциональной репликой: «Тов. Евдокимов, по всей вероятности во мне усматривает врага Советской республики, а я должен заявить многоуважаемому собранию, что я с 8-летнего возраста труженик, ничего не имею и остался без пальцев, вот я какой враг Советской республики, за которого меня тов. Евдокимов принимает»¹⁶.

Система защиты Гольгина состоит в соотношении своей биографии с характеристиками правильного, «революционного» поведения, что должно было подтвердить его статус как сторонника власти. Это он делает самостоятельно, без обращения к коммунистическому лексикону с его примечательными штампами, — и это более значимо для «самоконформизации» человека, чем употребление уже готовых клише, которые не были следствием интенсивных, «доморощенных» упражнений в лояльности. Ни в одной агитке он не нашел бы утверждений о том, что трудовая деятельность с 8 лет и потеря пальцев является гарантией политической благонадежности. К этому выводу, повторим еще раз, он пришел самостоятельно, тем самым предполагая и соглашаясь с тем, что Советская власть выражает интересы людей труда и именно тех, кто пострадал и кто ничего не имеет. Оговорка об увечье намекала на старый порядок и должна была удостоверить, что человек, пострадавший в то время, никак не может требовать возврата прошлого. Таким образом, ссылаясь на свою биографию, оратор вместе с тем косвенно подчеркивает достоинства советской власти, и подчеркивает это эмоционально и ярко. Биографический текст становится текстом политическим, хотя отчетливо политических терминов в своей апологии оратор и не употребляет.

Постараемся выяснить, существовала ли зависимость между силой и жесткостью протеста, определявших степень оппозиционности людей, и той системой постулатов, которую они учитывали, используя специфическую фразеологию при обосновании этой оппозиционности. Формы такой зависимости можно выявить, анализируя реакцию различных организаций на Октябрьский переворот в октябре-ноябре 1917 г. В постановлении Совета рабочих и солдатских депутатов Адмиралтейского района 31 октября 1917 г. предложено об образовании однородного социалистического правительства (отвергаемого большевиками). Этому предшествовали клише, казалось, взятые из арсенала большевистской пропаганды: «Контрреволюция мобили-

¹⁴ Там же.

¹⁵ Там же. Стб. 253–254.

¹⁶ Там же. Стб. 254.

зовала все свои силы для подавления трудящихся революционных масс», «Саботаж со стороны цензовых элементов и части заблуждавшейся трудовой интеллигенции». Такого рода фразами четко ограничиваются рамки протеста. Обвинить большевиков в преследовании оппозиции уже нельзя (поскольку она состоит из саботажников-буржуа и вообще «заблудившихся»), сама борьба против саботажников правомерна (ибо «контрреволюция мобилизовала все свои силы»), разбить большевиков означало «подавить трудящиеся революционные массы». Еще не высказав своего окончательного вердикта, Адмиралтейский Совет фразами, как флажками, обозначил запретные поля. Проходя между ними и стараясь их не переступить, Адмиралтейский Совет неизбежно должен был придать своему постановлению именно ту форму, в которой только предвзятый взгляд может обнаружить широту и бескомпромиссность протеста: «Выходом из создавшегося положения может быть только образование единого социалистического министерства, начиная от большевиков и кончая народными социалистами, без участия цензовых элементов, а также объединения всех без исключения социалистических партий в единый революционный строй»¹⁷.

Указания на «единый революционный фронт», «единую революционную власть» не случайно мы очень часто видим в тех постановлениях, которые допускают участие большевиков в новом правительстве. Идея «единой революционной власти», направленная в октябре-ноябре 1917 г. против захвата власти большевиками и высказываемая в различных вариациях почти в каждом постановлении об «однородном социалистическом правительстве», как раз и предусматривала участие в таком правительстве большевиков — правда, наравне с другими партиями. Зависимость между идеологией, отражением которой и являлись общеупотребительные клише, и тактикой здесь очевидна. Не требовать «объединения революционных сил» нельзя, поскольку это противоречит социалистическим постулатам, а если согласиться с «объединением», то придется примириться и с большевиками. Если бы в данном случае использовались другие клише, то терминологическая лазейка, позволявшая большевикам быть «совладельцами» власти, не могла существовать; но другие клише применяться не могли.

В постановлении Центрального Комитета Всероссийского железнодорожного союза (Викжель) 28 октября 1917 г. говорится о необходимости создать такое правительство, которое было бы ответственным перед «правомочным органом революционной демократии» (т. е. Советами), — неизбежно поэтому и могло быть здесь только предложено «однородное социалистическое правительство, представляющее все социалистические партии от большевиков до нар[одных] соц[иалистов]»¹⁸. В Декларации объединенных интернационалистов социал-демократов, выразившей протест против «заговорщицкой тактики большевиков, поставивших Всероссийск[ий] съезд перед фактом политического переворота», требование образования «однородной демократической власти, опирающейся на коалиции большинства групп революционной демократии» соседствовало с признанием «полного банкротства павшего коалиционного правительства», возмущением ввиду «ухода со съезда (Советов. — С.Я.) правой части демократии и той непримиримой позиции, которую она заняла по отношению к съезду, признанного правомочным представительством прежним ЦК», протестом против «всех попыток ниспровержения создавшейся власти вооруженной силой и путем саботажа», призывом к защите всех советских организаций от контрреволюции¹⁹. Не стоит труда признать, сколь близки эти фразы к языку больше-

¹⁷ Там же.

¹⁸ Там же. 29 октября.

¹⁹ Там же. 28 октября.

виков, — и, следовательно то, что они очерчивают границы протеста и могут служить платформой для дальнейшего примирения оппозиции и новой власти.

Разумеется, сам этот язык органичен именно для левых и радикальных программ и едва ли приемлем в программах либеральных и монархических, но последние не пользовались массовой поддержкой. На выборах в Учредительное собрание за левые партии проголосовало свыше 60 % избирателей, и не случайно, изучая реакцию на Октябрьский переворот различных социальных слоев и групп, государственных и общественных организаций, мы слышим в основном «социалистическую» речь — и видим те же характерные последствия ее применения. Можно привести еще несколько примеров «коллективных» постановлений осени 1917 г., и мы обнаружим все ту же соотнесенность речевых штампов и степени радикализации протеста. В своем постановлении собрание рабочих фабрики Варгунина отмечало, что «захватом большевиками власти за спиной съезда Советов Р. и С. Д. созданы опасные и гибельные для революции условия». Уже такая преамбула предлагает протест против отстранения любой из «советских» партий (а значит и большевиков) от власти, и неудивительно, что в самом постановлении подчеркивается: «Выходом из положения может быть только создание опирающейся не на одну партию, как это сделано большевиками, но на все социалистические партии пролетариата и крестьянства от нар[одных] соц[иалистов] до крайне левых». Обычная для большевиков критика политики Керенского, отраженная в подобного рода «примиренческих» документах, также стала компонентом умеренных постановлений, призывавших не свергать большевиков, но дать им возможность поделить власть с другими партиями. Постановление рабочих и служащих механического завода Однер, в котором признается «необходимость создания правительства, опирающегося на партии большевиков, меньшевиков и социалистов-революционеров», содержит примечательную оговорку: «Победа же войск Керенского отразится губительно на завоеваниях революции». Такое же обвинение в адрес Временного правительства присутствует и в постановлении рабочих Петроградского трамвайного парка: «Коалиционное правительство в течение 7-ми месяцев ничего, кроме массовой безработицы и явного противодействия стараниям рабочих наладить расшатанную промышленность не дало». Оно соседствует тут же с заявлением рабочих о том, что «отныне в их среде не должно быть фракционных разногласий, все должны защищать революционное правительство».

«Революционные» клише, которыми обильно уснащали свой язык левые публицисты, ораторы, партии и организации и возглавляемые ими фабрично-заводские коллективы, можно принять даже за некую предпосылку конформизма — даже позднее встречая их в статьях, речах и постановлениях, направленных против большевиков, мы во многих случаях можем быть уверены, что их содержание будет отличаться умеренностью.

В наказе собрания рабочих и служащих завода Сименс-Шуккерт 2 апреля 1918 г. единственным выходом из кризиса признавалось «единение демократии» — и здесь требования также не идут дальше «создания социалистического министерства», «оздоровления Советов», «восстановления всех органов, избранных всеобщим демократическим избирательным правом». Вопрос о власти большевиков тут или затушевывается, или обходится вовсе. Так, в оппозиционной резолюции, принятой в марте 1919 г., рабочие Путиловского завода и верфи требуют лишь отказа от «фракционного недоверия к широким народным массам», создания единого социалистического фронта и привлечения к социалистическому строительству всей трудоспособной революционной демократии. Эти требования предварялись и заканчивались характерной мотивацией («для более закономерного и успешного осуществления всех задач и планов РСФСР», «для удовлетворения всех естественных и законных вопросов жизни», «у большевиков нет и не найдется нужного для государственного устройства количества честных работников»), мас-

кирующей политическое содержание резолюции и в целом придающей ей оттенок «благонамеренности». Это обличение большевиков, выраженное с помощью «большевизированного» языка с присущими ему лексикой, штампами, кодами догматической мотивации и выявления причинно-следственных связей нагляднее всего обнаруживается в листовке Северного областного Петроградского комитета партии левых эсеров с характерным заголовком «*О мировой корниловщине*». Она стоит того, чтобы ее процитировать как можно подробнее: «**Боритесь за восстановление подлинной власти Советов в центре и на местах, но пусть соглашательство большевистской власти, подмена диктатуры пролетариата и трудового крестьянства самовластьем комиссаров, фальсификация и извращение самой сущности Советской власти <...> — пусть все это не толкает вас в лагерь черной контрреволюции, прикрывающейся флагом Учредительного Собрания.**

Подведем некоторые итоги. Политизация повседневной речи масс возникла не случайно, но была обусловлена рядом объективных факторов. Среди них — стремление защитить себя, использовать язык властей для решения бытовых нужд, дискредитировать оппонентов, обрести прочное положение в группе, обосновать свою значимость. Употребляя отдельные большевистские термины, заменяя привычные этические определения политическими, человек мог легче понимать язык властей, воспринимать их логику и систему применявшихся ими аргументов. Частоте употребления политических клише способствовало и то, что они использовались в жалобах и прошениях, имевших бытовой характер, касавшихся повседневных нужд людей. Это не являлось только политической декламацией, должной лишней раз удостоверить лояльность просителей. Зачастую это было ядром жалобы, чем-то таким, что помогало быстрее, нежели ссылка на относящиеся к делу подробности, удовлетворить нужды жалобщиков. В таких условиях использование политических вкраплений уже являлось традицией, упрочивалось и усложнялось. Политическая мотивация постепенно становилась менее примитивной, проситель употреблял уже целые блоки клише, умело манипулировал ими. Так усваивалась им система чужой речи. Так вследствие этого становились для него привычнее различные аспекты коммунистической догматики. Так становились для него значимыми характеристики «нового человека».

Важным элементом конформизации общества стала близость многих идеологических постулатов большевиков и их «левых» противников. Близкими были не только их программы, но, естественно, и используемая в них терминология и, особенно важно, упрощавшие их содержание лозунги, на которые быстрее всего откликались массы. Протест против большевиков высказывался почти «большевистским» языком, что неизбежно устанавливало границы антиправительственной критики, делая ее менее суровой. Клише и лозунги, употреблявшиеся социалистами, были знакомы многим после 1917 г. скорее в специфическом коммунистическом оформлении, поскольку именно большевики обладали самыми мощными, по сравнению с другими партиями, средствами идеологического воздействия на общество. Повторяя такие клише, социалисты, независимо от их побуждений, упрочивали влияние «языка власти». Кроме того, отказ от союза с «буржуазией», неприязнь к монархистам и черносотенцам, поддержка «революционной энергии» масс, нежелание выступать даже против «заблуждающегося» народа, призывы к ликвидации классовой эксплуатации, оценка социалистических идей как единственно правильных, — все то, что прочно укоренилось в идеологическом инструментарии некоммунистических «левых» умеренных и радикальных партий, могло в дальнейшем служить (и служило) для смягчения разногласий и установления сотрудничества между ними и большевиками, и тем самым являлось предпосылкой для конформизации масс.